

Освобожденье / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 24 января, 2025

Освобожденье / рассказ ОСВОБОЖДЕНЬЕ

Арефьев привез жену к морю в середине сентября. В Форосе, как и на всем побережье Крыма, стояли нежаркие, бархатные дни, море все еще было теплым, в воздухе пахло можжевельником и нагретым на солнце камнем. Все было таким же, как прежде, в прошлые приезды, но тайная горечь подспудно отравляла все в них – и чувства, и ощущения полноты жизни, потому что оба понимали: приехали сюда в последний раз. Они были одногодками, в начале года обоим стукнуло по шестьдесят лет, но причиной был не возраст, и даже не пошатнувшееся здоровье, сдававшее позиции с завидным упорством, а то подавленное душевное состояние, с каким доживали последние свои годы.

Тяжкий гипертоник, Арефьев держался исключительно на лекарствах, тогда как Варя, его жена, оставалась в подступающей старости энергичной и бодрой, тянула на себе дом и, добродушно ворча, опекала его, Арефьева, в те особо мучительные дни, когда давление подскакивало, дурная кровь гремела в висках, а головокружение и слабость загоняли его в постель. Но в прошлом году случилось непоправимое: после долгих колебаний Варенька решила на операцию по удалению катаракты – и прогадала. Зрение резко упало, она не могла читать, а если пыталась, то прищурив один глаз, почти ослепший, и осиливала не больше страницы. А месяца через три после операции, поздней осенью, с ней случился инсульт, из которого она с трудом выкарабкалась, но уже совершенно иной, чем была прежде: немощной, капризной, требующей постоянного внимания и ухода. И Арефьев, как ни тяжело и непривычно все это было, взвалил обязанности внимания и ухода на себя.

В прежней жизни белоручка и сибарит, он научился нехитрой стряпне, подружился с домашним монстром – стиральной машинкой. Но главное, стал бессменной и терпеливой сиделкой: одевал и обувал жену, кормил и поил, следил за своевременным приемом

лекарств, а когда она начала понемногу передвигаться – водил ее по дому, поднимал и укладывал, менял на ней белье и причесывал ее по утрам. Первоначально все эти заботы, помноженные на волнения и тревоги за жизнь жены, изматывали Арефьева, он даже на время забыл о своей гипертонии. Но потом он втянулся, и даже начал испытывать непривычное, щемящее волнение оттого, что причастен заботам о жене и, как никогда ранее, необходим ей.

К его радости, жена медленно поправлялась. И хотя Арефьев понимал, что она никогда уже не будет прежней, веселой, уверенной в себе Варенькой, каждый самостоятельно сделанный ею шаг или внятно произнесенное слово, свидетельствующие о постепенном возвращении к жизни, каждый предмет или очертания предмета, увиденные или распознанные ею, переполняли его такой нежностью, какой не испытывал никогда прежде. И это было странно и необычно – это новое чувство, проявившееся в нем, человеку рассудочном, сдержанном и даже циничном, особенно – если дело касалось неумеренных сердечных излиятий. Не ведавший ранее, что такое любовь, он вдруг начал испытывать мучительно-нежное, щадящее чувство, – и чувство это, он знал точно, было – любовь. Не плотская – как женщина жена давно не привлекала Арефьева, – но нечто высшее, выше страсти и наслаждения, а именно то, что зовется божественным началом в человеке. Жена сердилась, капризничала, попрекала, плакала, впадала в уныние, а он улыбался, послушно и виновато, и слова не смея возразить в ответ.

– Ну вот, опять!.. Слон в посудной лавке, – бранила его жена, когда он ронял что-либо, или каша у него подгорала, или убежал оставленный на огне куриный бульон. – Очумел? Больно ведь! – когда надевал ей тугие, замшевые ботинки или неловко поддерживал под руку на недолгой прогулке.

– Прости. Хотел – как лучше, – винился он, испытывая при этом что-то похожее на счастье, в том числе и от того, что она им недовольна, что пеняет ему и гоняет с утра до ночи по мелочам.

– Поддай воды! Только свежей, не так, как в прошлый раз. А эту вылей: разве непонятно, эта перестояла... Ну вот, что там опять? Разбил чашку? Из свадебного сервиза? Что ты за человек, право!

Между тем, сам он незаметно, но сокрушительно стал сдавать. Виктор Петрович, бывший сослуживец, при случайной встрече не признал Арефьева, хотя виделись они не так давно – какие-то полгода тому назад. Сослуживец, человек совестливый, конфузливый, долго мямлил о своей близорукости, жал руку и участливо заглядывал в глаза. А под конец все-таки не удержался и спросил о здоровье.

– Прости, ради бога, но как-то ты осунулся, поседел, плечи повисли. И походка... Всегда летал, а тут... Я потому и не признал. Знаешь, покажись-ка ты, братец, эндокринологу. Сейчас у многих сахар. Живешь и не чувствуешь, а в крови – сахар... И не на кого пенять – возраст...

«В самом деле – или сгущает краски? Ну, Петрович!.. – думал Арефьев, стоя после той встречи перед зеркалом, висящим в прихожей. – Черт знает что за зеркало! Кривое зеркало... Или рожа крива? Надо же было встретить этого Петровича!..»

Но в глубине души, хотел того или нет, вынужден был признать: сдал. В самом деле, сдал: походка шаркающая, в ушах шум, по ночам так сердце колотится, словно выпрыгнуть хочет, а уж давление...

– Ваня! – донесся из спальни нетерпеливый, болезненный зов жены – и он полетел на этот зов, забыв и о кривом зеркале, и о ломкой боли в пояснице, и о том, что, вот как сейчас, все чаще теряет равновесие на бегу. – Что ж ты, Ваня?! Мне встать надо...

И все-таки жена поправлялась. Уже совершали они прогулки по парку, и уже бралась она за мелкие работы по дому, и уже примеряла очки вместо марлевой повязки на прооперированном глазу. Но в то же время, слабость не отпускала, оттого ноги были у нее неверны, шаг мелок и неустойчив, – и это раздражало ее и погружало в уныние. Но особенно опасалась она ослепнуть – зрение в глазу падало, – и она плакала, уверяла, что это непоправимо, и что незачем дальше жить. Арефьев и сам трусил, присматривался, сопоставлял и терзался сомнениями, а однажды даже пришел в ужас, когда лечащий врач-невропатолог шепнула ему во время одного из приемов:

– Я не исключаю синдром Паркинсона. А это, знаете ли, неизлечимо. Я к тому говорю, чтобы были готовы...

К чему быть готовым? К проклятому синдрому? Или к тому, что его Варенька, та, какую знал и, как оказалось, всегда любил, зачем-то уплывет в иной, зыбкий мир, для него недоступный и уже только потому неумолимый, подлый, жестокий?

Но после затяжной, мокрой весны пришло долгожданное лето, синдром Паркинсона, так испугавший Арефьева, никак не проявлялся (что дало повод втихомолку обозвать невропатолога душой), и жизнь стала налаживаться. Но налаживаться как бы, – так ему все чаще казалось, и этому непреходящему и тягостному ощущению были свои причины. И главная причина была в том, что у жены изменился характер: она замкнулась в себе, стала раздражительна и слезлива, обижалась по пустякам и часто попрекала Арефьева, обвиняя его в том, о чем он и помыслить не мог. И внешне она как бы потускнела, ходила нечесаная, подволакивая ногу и лоя равновесие расставленными руками, а когда брала какой-то предмет – чашку, или гребень, или еще что-нибудь, – то сначала нащупывала этот предмет, потом подносила к лицу и всматривалась, прищунив один, едва живой, со слезной поволокой глаз. Но когда он отбирал у нее чашку и уверял, что чай уже выпит, но если она хочет, он еще подольет, или брал из ее рук гребень и брался причесывать, она внезапно взрывалась и бросала ему в лицо – обозленно, несправедливо: – Иди к черту! Будешь причесывать, когда умру. А сейчас – я сама...

В такие минуты Арефьев начинал тихо ненавидеть жену. Он пытался обуздать ненависть, но злые, звенящие мысли жалили, точно осы: «Вот дура! Какая дура!» – и возмущенная неблагодарностью кровь шибала ему в голову. Но сразу за тем, устыдившись, он говорил себе, что жена все еще нездорова и только потому капризна. И более того: не она капризничает – это болезнь ее вынуждает. И, в конце концов, это ведь его Варенька! Как там у Катуллы?.. И он просветленно шептал, улыбаясь милому, искаженному гневом лицу: «Oditnamo...»

– Что ты там бормочешь? – подозрительно спрашивала жена. – Может, я и не вижу, но слух у меня отменный.

– Я говорю, пора принимать лекарство.

А мысленно бормотал отчего-то засевшие в памяти строки из

Волошина: «Свободы нет. Но есть освобождение...», Свободы нет. Но есть освобождение...», Свободы нет...»

– А, черт!

Так продолжалось все лето, а в конце августа у нее случилась истерика. Утром она долго лежала в постели, всматриваясь в люстру на потолке, потом спросила: «Сколько на люстре лепестков? Было по три возле каждого рожка. А теперь?» Арефьев ответил: так и есть, по три возле каждого. И тут она тихо заплакала, затем – громче, отчаяннее, давясь слезами и прикрывая ладошкой глаза. Он бросился успокаивать, присел подле нее, поцеловал в мокрые щеки, погладил по волосам и заговорил, зашептал о том, о чем обычно говорят в такие минуты, – что-то убаюкивающее и ласковое, – но не тут-то было: она отбросила его руку и зашлась в надрывном, злом крике.

– Уйди!.. Это ты во всем виноват... Уйди, уйди же!.. Не уйдешь – я не знаю, что с собой сделаю...

Он выскочил из спальни и, таясь за дверью, вслушивался: что там? – каждую секунду готовый вернуться и прийти на помощь. Но рыдания вскоре утихли, еще какое-то время она всхлипывала и судорожно вздыхала, потом, наконец, успокоилась, – и только тогда он осмелился заглянуть в спальню. Жена лежала на спине, повернув к двери голову, будто ждала его появления, и ее лицо, опухшее от слез, испугало Арефьева своей отрешенностью.

– Ваня, – позвала она, щуря подслеповатый глаз, чтобы лучше видеть, – Ваня, а таблетки?.. Ты не давал мне таблетки. – И скороговоркой прибавила – без всякой связи с предыдущим: – Ты меня любишь, Ваня?

– Терпеть не могу! – улыбнулся он, беря ее за руку и целуя холодные кончики пальцев.

Но она не приняла, как обычно принимала, эту его давнюю, дурацкую шутку, – смотрела все так же горько и отрешенно, как будто где-то глубоко в душе взвешивала на весах связанные с ним сомнения, надежды и тревоги.

И тогда Арефьев решил, что жену надо встряхнуть, – и для этого проще всего увезти из дома. С некоторых пор ему стало казаться, что дом угнетает ее, как может угнетать место, к которому против воли привязан. «Тюрьма», – несколько раз

обмолвилась она о доме. Поэтому решил увезти – куда-нибудь далеко, туда, где она любила бывать прежде, – в Форос, к морю. Когда он как бы невзначай обмолвился о Форосе, жена, которая до того рылась на полке с лекарствами и потому слушала вполуха, тотчас притихла и со склянкой в руке обернулась, недоверчиво и испуганно всматриваясь: о чем он? правду ли говорит? Потом негромко вздохнула, покачала головой и снова вернулась к своим порошкам и склянкам. Но часа не прошло, как она молча, ни слова ему не говоря (что всегда было в ее характере), раскрыла платяной шкаф, выдвинула ящики комода и стала отбирать вещи в дорогу.

Ехали, как в прежние, добрые времена, на автомобиле. Только на этот раз – вдвое дольше обычного: жена в последнее время плохо воспринимала скорость, и потому Арефьев едва тащился, прижимаясь к обочине, пропуская нетерпеливые, борзые автомобили и аккуратно перекатываясь через выбоины в асфальте. Стоял сентябрь, прохладный, с морозящими дождиками, но чем южнее они оказывались, тем теплее и благодатнее становилось вокруг.

– Посмотри, здесь мы останавливались и передыхали в прошлый раз, – говорил Арефьев, и она с улыбкой поворачивала голову по направлению его руки и кивала: да, вижу, – и он тотчас спохватывался: на самом деле видит или лукавит, чтобы порадовать его, дурака?

«Лучше бы мне помолчать. Болтун, пошлый, неисправимый болтун!», – укорял себя он, но и получаса не проходило, как укору забывались, – и он опять тормозил жену, указывая ей на знакомую развилку, ерзая на сидении и возбужденно блестя глазами:

– А здесь – помнишь, по пути в Евпаторию, в санаторий? – заклинило тормозную колодку, пришлось возвращаться. Была жуткая жара, потом вдруг – гроза, град. На том месте – видишь? – дерево с корнем вывернуло. Стекла заливаает, видимость нулевая, а дерево – поперек дороги... Едва увернулись. А теперь погляди-ка: бархатный сезон, благодать.

И она вертела головой, скорее угадывая, чем узнавая развилки, поселки и городки, попадавшиеся им на пути, вспоминала

забавные истории вместе с ним. Но вскоре притихла, стала заметно уставать – «поплыла», как однажды обмолвилась дура-невропатолог, – и ее стало клонить в сон. Тогда он, сколько мог, опустил сидение, укрыл жену дорожным пледом, – и так, полулежа, она дремала, и только изредка спрашивала, не открывая глаз: «Где мы? Уже в Крыму?» – покорно вздыхала и снова впадала в дрему.

А под конец пути она уже не открывала глаз и не спрашивала ни о чем, – и по всему ее утомленному, приморенному виду, по бледному кругу вокруг рта и запавшим подглазьям Арефьев видел, что жене нездоровится и сожалел уже об аванюре с поездкой.

Сам он тоже устал, как никогда прежде не уставал, но упрямо, усилием воли, гнал машину все дальше и дальше к югу. Вареньке было плохо, и даже тогда, когда где-то под Симферополем они едва не вылетели на обочину, он не позволил себе остановиться и передохнуть час-другой.

В Форосе, на пяточке у зеленого скверика, Арефьев заглушил двигатель и, уронив на колени руки, какое-то время сидел ни жив ни мертв. Пальцы рук у него дрожали, затылок, шея, все тело налились тяжестью, в ушах звенело, а в глаза будто сыпанули песком. Но едва у жены дрогнули ресницы и едва она приморено спросила: «Что, приехали?» – он засуетился, дал ей напиток из пластиковой бутылки, затем рванул в скверик, где сидели на скамейке тетки, сдававшие жилье внаем.

Однокомнатная квартирка на втором этаже пятиэтажного панельного дома понравилась Арефьеву.

– А здесь уютно, – сказал он, раздвигая легкие, цветастые шторы. – И окна с видом на море.

– Да? – тусклым, бесцветным голосом отозвалась жена и присела на край кровати. – Устала. Хочу лечь. Задерни, пожалуйста, шторы, Ваня.

Она разделась, легла, повернулась лицом к стенке, накрылась с головой одеялом.

Прошли сутки, прошли вторые – жена все это время спала или лежала с закрытыми глазами. От солнечного света, проникавшего в окна, у нее болели глаза, и она не позволяла раздернуть шторы. И ела она, не вставая с постели, опершись спиной о

приставленную к спинке кровати подушку и, казалось, не замечая Арефьева, не ощущая вкуса приготовленной им пищи и не улавливая нежного аромата крымским фруктов, купленных для нее на рынке.

Страшась побеспокоить жену, он выжидал, колебался, придумывал – и не мог придумать, как растормошить ее, чем заинтересовать, куда позвать: в парк, к морю или на Красную скалу, в Воскресенскую церковь, где она так любила бывать прежде. Но на третьи сутки все-таки не утерпел – раздернул проклятые шторы и стянул с жены одеяло. Она вопрошающе глянула на него, затем опустила исхудавшие ноги на пол и прошелестела:

– Что тебе?

– Собирайся. Идем на море.

– Хочется тебе меня мучить? – вздохнула она, морщась и прикрывая от яркого солнечного света, льющегося через окно в комнату, подслеповатые, слезящиеся глаза. – Поддай мне, пожалуйста, платье. То самое, что в прошлый раз надевала... Ну что ты, в самом деле! – то, что купили в последний приезд сюда...

Он помог жене одеться, провел щеткой по волосам, выправляя неровно уложенные ею пряди, сложил в пляжную сумку купальные принадлежности, и они вышли из дома.

День клонился к вечеру, бархатный, золотисто-палевый, сквозной. По узкой, бетонной дорожке, петляющей между глухими оградами коттеджного городка, они спустились к пляжу, укрытому между огромными, каменными валунами, гладкими, лоснящимися, вылизанными ветрами и соленой водой. Здесь же, между валунами, пристроился армянский ресторанчик с открытой в сторону моря террасой. В этом ресторанчике они не раз сживали в прежние годы – за бутылкой красного сухого вина с шашлыками или за графинчиком коньяка с крепким, пахнущим корицей кофе. Но сейчас вино, коньяк и кофе не были им показаны, – и Арефьев сделал вид, что не слышит доносившуюся из ресторана музыку и не улавливает пряный запах специй и жареного мяса. Он бережно провел жену по гальке, похрустывающей под ногами, расстелил у покатога валуна пляжное полотенце, – и Варя сразу, не раздеваясь, села на приготовленное место, прислонилась к

нагретому за день камню и закрыла усталые глаза.

Море, раскинувшееся у самых ног, лежало спокойно и неподвижно, как зеленое, помутневшее от времени зеркало. Большая, жирная чайка плавала у берега и косилась на людей хищной бусинкой-глазом. Две другие сидели на соседнем валуне и, беспокойно переступая лапками и вертя головами, ждали угощения.

«Жадные и наглые птицы», – подумал Арефьев, не любивший чаек, и швырнул в море камешек. Подорвавшись, жирная чайка захлопала крыльями, но и двух метров не пролетела – снова шлепнулась в воду и закачалась, как поплавок. Две других, на валуне, только крикнули и перебежали еще выше, на самую макушку громоздкого, ноздреватого камня.

– Кыш, проклятые! – замахнулся на птиц Арефьев и тут же осторожно покосился на жену: не испугнул ли, не потревожил?

Но та даже глаз не подняла – сидела отрешенно и безразлично, сложив на коленях руки, и, как ему показалось, едва дышала.

«Будто неживая», – с горечью подумал Арефьев. Не на такой результат надеялся он, когда затевал эту безумную и опасную поездку. Ведь жена так любила море, этот полудикий пляж, эти валуны, и особенно – тот, в тридцати метрах от берега, все так же одиноко высовывающийся из воды и озаренный, как и тогда, в прежние годы, закатным солнечным светом.

«Наш камень, – приезжая, говорила она и плыла к валуну, взбиралась на его плоскую, осклизлую с боков макушку и смотрела на море с белыми, крошечными корабликами на рейде, на горы, вздымавшиеся над поселком, и на купола Воскресенской церкви, горящие золотом среди гор. – Ну, что же ты? Поплыли к нашему камню».

А однажды, как бы между прочим, обмолвилась:

– Знаешь, я хотела бы жить здесь, в Форосе. И здесь умереть. Однажды уплыть к нашему камню – и не вернуться.

– Как это – уплыть? Ни креста, ни могилы – так что ли?

– Может и так. Какая разница, если все равно – вечность...

Вот так: все равно вечность... Кажется, было давно, а такое ощущение, что – вчера. Непостижимая она женщина, его жена...

Тут Арефьев вспомнил еще и о том, как однажды они познакомились – здесь же, на берегу – с молодой супружеской

парой, и как жена приревновала его к новой знакомой, черноглазой, белозубой, веселой молодухе, вспылила и уплыла к своему камню. Он погнался следом, оскользаясь, вскарабкался, сел рядом, – и тогда она обернулась и вопрошающе на него посмотрела:

– Ты меня любишь, Ваня?

Он подумал тогда: какого черта?! Какая любовь, когда вокруг и рядом, в параллельном мире, живут и любят другие женщины, ничем не хуже, даже красивее, и соблазн сойтись с ними нередко перевешивает божеские заветы? Что есть любовь, если не минутная страсть, не похоть, с годами затухающая, переходящая в привязанность и привычку?

Но вот случилось непоправимое, и Варенька сидит у воды как неживая, смотрит невидящими глазами на сонную, зеленую гладь и в глазах ее, кроме бесконечной усталости, – отторжение того, что так восхищало ее в прежней жизни: моря, гор, неба, потому что жизненные радости теперь недоступны ей. А он все так же не понимает любви, но то, что происходило в последнее время с женой, так мучительно, так горько, так беспросветно, что даже мысль о жизни без нее приводит его в ужас...

– Зачем ты меня привез?

Арефьев поднял голову, недоуменно всмотрелся и сразу струсил – жена смотрела на него в упор, сузив глаза, чтобы лучше видеть, и лицо у нее было искажено гримасой брезгливости и необъяснимой злобы.

– Как зачем? Как зачем? – воскликнул он с преувеличенно-фальшивым восторгом. – Так ведь – море! Варенька, море! Ты всегда любила... Пойдем, окунемся. Вода теплая, удивительная для сентября. Пойдем.

– Не пойду. Я почти ничего не вижу. Я даже нашего камня не вижу.

– Но как же?..

– Я не пойду! – крикнула она свистящим, истеричным шепотом, так что парочка, сидящая неподалеку, с недоумением на них оглянулась. – Сказала, и отстань от меня! Иди, купайся, если хочешь. А меня оставь в покое!

«Что с ней? – растерянно подумал Арефьев, втягивая голову в

плечи и боясь встретиться с женой взглядом, словно был перед ней в чем-то виноват. – Неужели ничего нельзя сделать? Как вернуть ее к жизни? Как?»

Несколько человек – смуглый, моложавый мужчина спортивного вида и две ярко покрашенные девушки с разноцветными волосами – спустились по ступеням на пляж и прошли, смеясь и хрустя галькой, на террасу ресторана. Тотчас музыка заиграла громче, загремели дубовые скамьи, мелькнула белая рубашка армянина-официанта.

– Варенька, а что если?.. – кивком головы Арефьев указал в сторону ресторана. – Помнишь, как хорошо посидели здесь в последний раз?

– В последний? Не помню. Но может быть... Помоги мне, – она подала Арефьеву руку, и когда тот помог ей подняться, спросила с легкой иронией в голосе: – Как я? Не слишком растрепанная для ресторана?

Они сели за столик в уголке у перил, и с высоты террасы берег и море, усеянные согбенными, древними валунами, и безоблачное небо над головой раздалось вширь и вглубь и стали объемны и необозримы. И Арефьев хотел было восхититься и сказать об этом, но жена вдруг спросила:

– Это что, дымка? Дождь собирается? – и он вовремя прикусил язык.

Явился официант, весь углубленный в себя и сосредоточенный, точно сфинкс, и Арефьев заказал салаты из морепродуктов и яблочно-виноградный сок.

– Шашлык? – пробормотал официант, выжидая с ручкой и блокнотом в руках. – Свежий, хороший.

Арефьев поднял глаза на жену, затем кивнул: и шашлык тоже.

– Закажи мне вина. Того самого... красного сухого...

Спиртное было ей категорически противопоказано, но он не осмелился возражать, и удовлетворенный заказом официант первым делом поставил на стол бутылку саперави и два бокала.

– Ох! – воскликнула жена, пригубив вино и слизывая темно-рубиновую полоску с верхней губы. – Ну вот, ну вот, а ты говорил... Не смотри на меня, я – капельку... Совсем как тогда, совсем как тогда...

Арефьев не понял, о чем жена говорит, но живой блеск, появившийся у нее во взгляде, и то, как она улыбнулась и тряхнула непослушными волосами – совершенно так, как еще недавно, в прошлой жизни, – всколыхнули в нем небывало-теплую волну счастья. «Глоток-другой вина повредить не может, – подумал он, украдкой поглядывая на жену, – а вот если...»

За столиком, где сидели мужчина и две девушки, громко засмеялись, и, перекрывая смех, мужчина крикнул зычным баритоном: «Официант!» Белая рубашка неторопливо проплыла, загадочное лицо сфинкса, скосив восточные глаза, свысока внимало тому, что говорил, загибая пальцы на волосатой руке, мужчина и чему поддакивали, хихикая, крашенные девицы.

– Пожить бы немного, как они, – не задумываясь, – шепнула Арефьеву жена, прислушиваясь к возгласам и смешкам за беспокойным столиком. – Ни о чем не думать – просто жить. Когда ничего не болит, когда не ощущаешь, как постепенно разваливаешься, рассыпаешься, и то, что с тобой происходит, неостановимо. Когда осознаешь, что ты – старая рухлядь, что ползаешь, едва ноги переставляешь, а скоро совсем ослепнешь, и что тогда? Жизнь, Ванечка, дерьмо и не стоит того, чтобы за нее цепляться. Это как посреди океана: если нельзя спастись, лучше утонуть сразу.

У Арефьева перекошилось лицо и стали жалкими, опрокинутыми глаза. Жена не столько увидела, сколько почувствовала в нем эту перемену, накрыла его руку своей и слегка сжала, словно хотела сказать: что ты, в самом деле, я – не серьезно, я пошутила.

– Давай, Ванечка, выпьем за тебя. Ты так переменялся, когда я... когда со мной... – Она на мгновение запнулась, но тут же с улыбкой договорила: – Знаешь, я ведь я хотела развестись с тобой... тогда, в другой жизни. Вечером надумаюсь, ночью переплачу, утром спохватываюсь: а если он все-таки меня любит? Давай выпьем, чтобы все у тебя было хорошо.

– У нас. Чтобы у нас все было хорошо.

Они снова пригубили из бокалов, и тут только заметили, что на террасе стало на глазах темнеть: по всей видимости, где-то там, у Байдарских ворот, солнце завалилось за горную гряду. И сразу соткались и напозли отовсюду сумеречные тени, а море,

еще секунду назад бывшее рядом, отодвинулось и, словно дикий зверь, затаилось. В наступившей тишине послышался нежный шлепок, еще один, и еще – это волны взлизывали на прибрежную гальку. И почти сразу с моря потянуло вечерней свежестью и невесомой, прозрачной, как паутина, влагой.

Между столиками прошел официант, чиркая спичками, зажег на столах свечные огарки в плоских подсвечниках, – и теплые, желто-красные отблески заплясали на лицах, на руках и на столовых приборах.

– Боже мой! – воскликнула Варя – так тихо, что Арефьев едва услышал. – Боже мой! Как хорошо, Ванечка, как печально! Посмотри, жизнь сузилась до размера свечи: жалкий огонек, и ничего больше. Стоит только дунуть – и нет его. А пожалуй – станет таять, мучиться, тлеть, но светить уже не будет. Так и жизнь, так и жизнь...

«Опять? Не надо бы ей больше пить», – подумал Арефьев и придвинул жене блюдо с мясом.

– Варенька, что ж ты – одно вино?.. Съешь что-нибудь. Вот шашлык – и в самом деле вкусно...

Еще кто-то поднялся на террасу, движение и говор вокруг усилились, – и вскоре трепетные свечные огоньки замигали отовсюду. Перекрывая говор, в дальнем углу ресторана, на эстраде, свистнул и стал фонить усилитель, но музыкант, укрытый за дубовой колонной, быстро убрал звук, слегка дунул в микрофон и бархатным баритоном запел красивую армянскую песню. И тотчас у Арефьева засосало под ложечкой – то была давняя, знакомая еще с молодости мелодия, слова которой, не понимая языка, он переиначил на свой лад: «О, красавица!» И Варя любила эту песню, и не просто любила – то был своеобразный их талисман: лет сорок тому назад под эту мелодию он вел ее, молодую жену, в свадебном танце. И оттого сейчас, когда музыкант играл и пел, Арефьев очень хотел, но еще больше опасался посмотреть на жену – их общее прошлое в последний год было мучительно для нее, вызывало если не глухое отторжение, то приступы тоски и тихие, горькие слезы.

– Ов, сирун, сирун, – сладкоголосо тянул баритон.

– Еще и это?.. Словно сговорились сегодня... – услышал он голос

жены, все-таки осмелился и поднял на нее глаза – Варенька улыбалась неуловимой, странной улыбкой, и эта улыбка, подумалось Арефьеву, ничего хорошего для него не предвещала; но она снова улыбнулась, тряхнула волосами, поправила выбившуюся на лоб прядь. – А, была не была! Потанцуем, Ванечка?

Они поднялись из-за стола, прошли между столиками на пяточок перед эстрадой, – и жена впервые за последние годы положила ему на плечи худые, невесомые руки.

– Держи крепче, – шепнула она, прижимаясь и неуверенно переступая с ноги на ногу. – Что-то меня водит, ноги не держат... Старая рухлядь, да?

– Нет! Просто мы давно не танцевали, и пол здесь неровный. А тогда, на свадьбе, – помнишь, как тебя повело?

– Шампанское!.. Шампанское было теплым... А накануне всю ночь не спала. Как почему? Боялась – что будет, как? Вдруг передумаешь и сбежишь, как гоголевский Подколесин.

– Это я – Подколесин? Я?

– Кто же еще?! Если бы жила на первом этаже – выпрыгнул бы в окно. Зато танцевал отменно: всегда любила смотреть, как выделываешь коленца. И сейчас ведешь – как тогда... – Тут ее сильно качнуло, и она едва не упала, но Арефьев успел подхватить ее и прижать к груди. – Ох! Вот, пожалуйста, а ты говоришь. Рухлядь, ни на что не годная рухлядь! Пойдем, Ванечка, пора с этим заканчивать... Что-то я устала сегодня.

Они вернулись к столику, но жена не стала садиться – молча, опершись о перила, смотрела, как Арефьев расплачивается за ужин, а когда официант ушел, взглядом велела прихватить со стола недопитую бутылку вина.

– Гулять так гулять! – с коротким смешком обронила жена, ухватив его за локоть, и Арефьев почувствовал, как грузно она оперлась, и как нетвердо, слепо ступала по ступенькам и потом шла по зыбкой, оседающей под ногами гальке.

Полотенце, прижатое голышами, все так же лежало у большого валуна, брошенное, съездившееся и напитавшееся сыростью от близкой воды. Вокруг было темно, тихо, пустынно, и оставшаяся позади терраса мерцала скудными огоньками так отстраненно и

нереально, словно мертвая картинка на экране кинотеатра. Но вот глаза немного пообвыкли, мгла сделалась прозрачной, – и зарябила лунными отблесками мелкая, морская рябь, и берег раздвинулся, и проявились, там и здесь, неясные тени сидевших у воды парочек.

– Дай-ка! – сказала жена и, выхватив из рук замешкавшегося Арефьева бутылку, отпила несколько глотков прямо из горлышка. – Как там, у твоего Волошина: «Свободы нет. Но есть освобождение»? Освобождение – от всего...

– Варенька!..

– Т-с-с! Теперь можно – в море. Пойду, переоденусь. Нет, посиди на берегу, я хочу – одна. Лучше, знаешь, побереги мое платье...

Оступаясь и балансируя на гальке, жена побрела к кабинке, и, глядя ей вслед, Арефьев недоуменно думал: как же она поплывет – одна, ночью?

Переодевшись, она аккуратно сложила на полотенце платье, мимолетно глянула на Арефьева, и ему показалось, что ее полуслепые глаза внезапно и необъяснимо прозрели, зябко повела плечами и вошла в воду.

Жена и двух шагов не прошла, как он ослушался – сбросил футболку и брюки, забежал по щиколотки в море и встал настороже, каждую секунду готовый броситься, подхватить, спасти. Смутное беспокойство овладевало им. Ведь она не попросила постеречь платье, сказала: побереги. Оговорилась или?.. Дура конченная!

В три прыжка он догнал жену и крепко, едва не намертво ухватил ее за запястье.

– Пусти! Что же это такое?! – не глядя на него, глухо произнесла она и попыталась вырваться, но Арефьев не отпускал, и тогда она подняла на него глаза и поглядела долгим, просящим взглядом, словно уговаривала: «Милый, еще шаг – и все, и мучениям конец. Отпусти...»

«Ни за что на свете! Ты – моя радость», – хотел сказать он, но не смог: спазм сдавил горло – точно так же, как некогда, очень давно, на решавшем их судьбу свидании, когда даже слова о любви к ней не сумел вымолвить, – и тогда он улыбнулся ее

вопрошающим, размытым слепотой глазам:

– Ну что, до нашего камня – и назад?

Она пытливо и недоверчиво вскинула к нему лицо, пытаясь разглядеть, все ли он понял верно? Потом едва слышно вздохнула – будто всхлипнула, и Арефьев скорее ощутил, чем увидел, что это измученное болезнями, дорогое ему лицо просветлело и стало на мгновение прежним. Она с легким смешком плеснула в него водой, оттолкнулась от дна и поплыла по зыбкой, золотистой дорожке туда, где над плоским, темным зубцом их скалы перетекала золотая, ущербная с одного края луна.

Об авторе: МИХАИЛ ПОЛЮГА

Поэт, прозаик. Родился в городе Бердичеве на Украине. Окончил Харьковский юридический институт и Литературный институт имени М.Горького. Автор 20 книг поэзии и прозы, член Национального Союза писателей Украины и Союза российских писателей. Публиковался в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Этажи», «Київ», «Зарубежные задворки», «Семь искусств» и др. Входил в короткие списки Бунинской Премии (2015 г.), Премии им. И.Бабея (2019 г.), в длинный список Премии им. Ф.Искандера (2018). Некауалар